

Предисловие «Полки»

Итоговое произведение Достоевского — роман о главных вопросах мира, скрывающихся за детективным сюжетом. Порок здесь противостоит святости, надрыв — кротости, а слезинка ребенка — властной карамазовщине.

Варвара Бабицкая



Последний роман Достоевского и завершающая часть пятикнижия*¹, где писатель намечает современному обществу выход из мировоззренческого тупика и полемизирует с явлениями, которые считает язвами своего века: атеизмом, материализмом, утилитарной социалистической моралью, разложением семьи. Теософский трактат в оболочке детективного романа об отцеубийстве, первоначально задуманный как первая часть «Жития великого грешника», через соблазны приходящего к праведности. Три брата — Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы — спорят о вечных вопросах (есть ли бессмертие души? Руководит ли человеком свободная воля или одни законы природы? Существует ли Бог и Творец?), параллельно разрешая любовные и денежные коллизии. Как писал Достоевский Николаю Любимову, своему редактору в журнале «Русский вестник», «если удастся, то сделаю дело хорошее: заставлю сознаться, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех ее зол».

Замысел своего итогового произведения Достоевский вынашивал еще в 1860-е годы: поначалу он планировал создать цикл из двух романов — «Атеизм» и «Житие великого грешника», историю падения и воскресения человеческой души в контексте актуальных событий русской и мировой истории, противопоставив злободневным умонастроениям вечные проблемы добра и зла, веры и безверия. Воплотить, однако, он успел только первую часть эпопеи. Создавались «Братья Карамазовы» с апреля 1878-го по ноябрь 1880 года, в основном в Старой Руссе, с которой во многом срисован вымышленный город Скотопригоньевск. Во время работы над первыми книгами романа, весной 1878 года, Достоевский потерял трехлетнего сына Алексея, умершего от эпилептического припадка — болезни, унаследованной от отца. Тяжело переживая смерть мальчика, Достоевский вместе с философом Владимиром Соловьевым посетил Оптину пустынь, где встретился со старцем преподобным Амвросием (Гренковым), после чего «вернулся утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа»¹. Жена писателя, Анна Григорьевна, полагала, что слова Амвросия повторяет в романе старец Зосима, утешая мать, потерявшую сына.

*¹ «Великое пятикнижие» Федора Достоевского — распространенное в литературоведении совокупное обозначение его поздних романов, обладающих идейно-тематическим и поэтико-структурным сходством: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

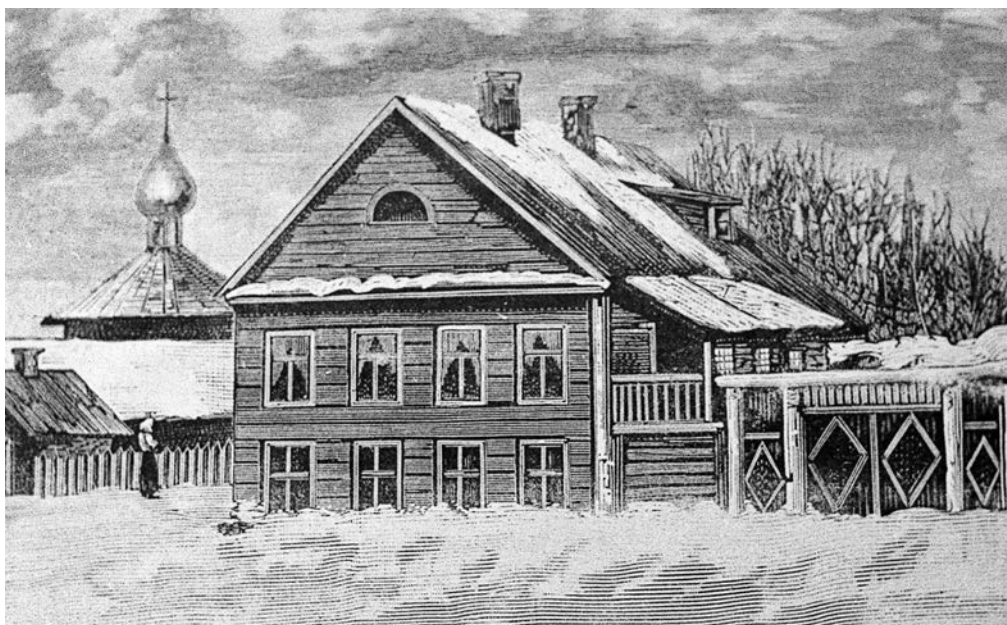
Работа над романом затягивалась по разным причинам, в частности из-за болезни Достоевского, вынудившей его отправиться на лечение в Эмс; примерно через три месяца после завершения публикации писатель умер.

КАК ОНА НАПИСАНА?

Основной сюжет романа — детективный и мелодраматический, замешанный на нескольких пересекающихся любовных историях и денежных казусах, — перемежается вставными, отдельными по существу произведениями. Такова, например, книга шестая «Русский инок», содержащая жизнеописание и учение старца Зосимы,

таковы «Мальчики», «поэма» Ивана Карамазова «Великий инквизитор», «Кана Галилейская». Сюда же — не имеющие вроде бы отношения к сюжету исповеди и манифесты героев, скажем три «Исповеди горячего сердца» Мити Карамазова («В стихах», «В анекдотах» и, наконец, «Вверх пятами»). Течение сюжета постоянно прерывается богословскими диспутами, которые ведутся разными героями и в разных регистрах — в келье старца Зосимы, «За коньячком» — в издевательском тоне между стариком Карамазовым и Смердяковым, Алешей, Митей, Иваном и чертом.

В романе исключительно важен фантастический элемент — ключевую роль играют сцены снов, галлюцинаторный



Неизвестный художник. Дом Федора Достоевского в Старой Руссе. Гравюра

разговор Ивана с чертом, видение Алеши. Вообще реалистическим этот роман можно назвать скорее условно. Так, например, Михаил Бахтин объяснял «жизненно неправдоподобные и художественно неоправданные» сцены скандалов, которыми изобилуют романы Достоевского, и в частности «Братья Карамазовы» (скандал в келье старца Зосимы, в гостиной Катерины Ивановны и проч.), специфической «карнавальной» логикой художественного мира Достоевского. Как пишет Бахтин, «карнавализация... позволяет раздвинуть узкую сцену частной жизни определенной ограниченной эпохи до предельно универсальной и общечеловеческой мистерийной сцены»².

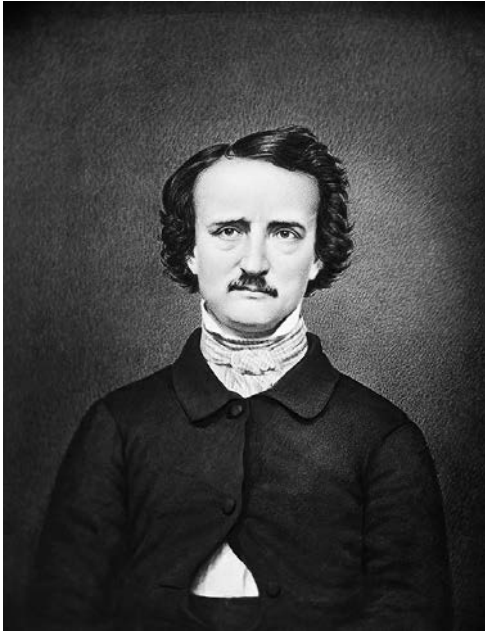
Другое свойство прозы Достоевского, по Бахтину, в ее полифоничности: все исповедальные высказывания его героев «проникнуты напряженнейшим отношением к предвосхищаемому чужому слову о них, чужой реакции на их слово о себе». Всем героям «Карамазовых» свойственны «двойные мысли»: одна выражается в содержании их речи, другая, часто ими самими не осознаваемая, — в построении речи, в ее интонациях и не всегда ясных паузах; материализацией этого внутреннего голоса становится, например, диалог Ивана с чертом. Голос рассказчика, как отмечает исследователь, ничего не прибавляет к этой полифонии, становясь только одним из равноправных голосов.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Ряд источников назван в романе прямо, устами героев: таковы древнеславянский апокриф «Хождение Богородицы по мукам» или «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго — к русскому переводу этого романа Достоевский написал в 1862 году предисловие, где назвал выраженную в нем идею основной мыслью всего искусства XIX столетия: «Эта мысль христианская и высоконравственная, формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков». Не меньшее значение имели для Достоевского и «Отверженные» — «Братьев Карамазовых» можно рассматривать как своеобразную полемику с Гюго; скажем, вопрос Ивана о допустимости всеобщего счастья ценой смерти ребенка — ответ на мнение Гюго, что смерть малолетнего Людовика XVII была оправдана высокой целью народного благоденствия³.

Михаил Бахтин указывает на огромное значение, которое имела для Достоевского диалогическая культура Вольтера и Дидро, восходящая к диалогам Сократа (в частности, в 1877 году, работая над «Братьями Карамазовыми», Достоевский планировал написать «русского Кандида»^{*1}), — возможно, этот замысел был воплощен в романе), а также творчество

^{*1} «Кандид, или Оптимизм» — повесть Вольтера, написанная, предположительно, в 1758 году. Рассказывает о странствиях по миру юноши Кандида, его возлюбленной Кунигунды и учителя



Эдгар Аллан По.
Фотография Мэттью Брэди. 1860-е годы

Гофмана с его фантастическими и сказочными мотивами.

Алеша Карамазов наделен чертами житийного героя: здесь и воспоминание о матери-блаженной, как бы препоручающей его Богородице, и стремление уйти от мира, и свойство возбуждать всеобщую любовь и самому любить всех, и бессребреничество, и «дикая, иступленная стыдливость и целомудренность».

Из житийной литературы в романе прямо упомянуто «Житие Алексея человека Божия»⁴. На религиозно-философскую концепцию романа повлияло как творчество других беллетристов, в особенности Виктора Гюго и Льва Толстого, так и работы философов и религиозных мыслителей Владимира Соловьева и Николая Федорова.

Стало общим местом сравнение Ивана Карамазова с Фаустом Гете и с шекспировским Гамлетом. Своеобразным лейтмотивом «Братьев Карамазовых» становится цитата из монолога Карла Моора («Разбойники» Шиллера): «Поцелуй в губы и кинжал в сердце» — ее выкрикивает Федор Павлович во время скандала в келье старца Зосимы, повторяет Дмитрий, размышляя о ссоре Грушеньки с Катериной Ивановной; она, как отмечает исследователь, «превращается в своеобразный сценарий, в соответствии с которым строится встреча Алеши и Мити накануне суда и разговор Великого инквизитора с Христом».

Наконец, замечание Достоевского в его статье «Три рассказа Эдгара Поэ» можно справедливо отнести к его собственному методу: «Он почти всегда берет самую исключительную

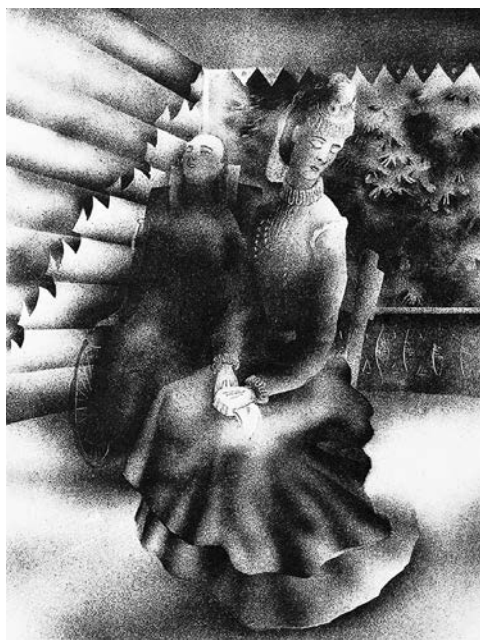
Панглосса. Они становятся свидетелями сражений Семилетней войны, Лиссабонского землетрясения 1755 года, взятия Азова во время одной из русско-турецких войн и других событий. Вольтер высмеивает оптимистичное мировоззрение немецкого философа Готфрида Лейбница и вообще ставит под сомнение оптимистический пафос Просвещения: убеждение Панглосса, что «все к лучшему в этом лучшем из миров», в повести выглядит издевкой. «Кандид» быстро стал необыкновенно успешным среди современников; считается, что его слог оказал большое влияние на Александра Пушкина и Гюстава Флобера.

действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою пронизательности, с какою поражающею верностью рассказывает он о состоянии души этого человека!»

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Роман публиковался по частям в литературном и политическом журнале Михаила Каткова «Русский вестник» в 1879–1880 годах. В декабрьской книжке «Русского вестника» за 1879 год было по просьбе писателя напечатано его письмо Каткову, где Достоевский просил у читателей прощения за задержку с публикацией: «Это письмо — дело моей совести. Пусть обвинения за неоконченный роман, если будут они, падут лишь на одного меня, а не коснутся редакции “Русского вестника”, которую если и мог бы в чем упрекнуть, в данном случае, иной обвинитель, то разве в чрезвычайной деликатности ко мне как к писателю и в постоянной терпеливой снисходительности к моему ослабевшему здоровью...» Помимо болезни писателя, задержки были связаны с тем, что план романа значительно менялся по мере работы над ним, некоторые книги выросли почти вдвое против задуманного, добавлялись отдельные, не предусмотренные первоначально главы и книги.

«Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги. Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать», — писал Достоевский Николаю Любимову 8 ноября 1880 года, отправляя в редакцию «Русского вестника» эпилог романа. Отдельным двухтомным изданием «Братья Карамазовы» вышли в начале декабря 1880 года, успех был феноменальным — половина трехтысячного тиража была раскуплена за несколько

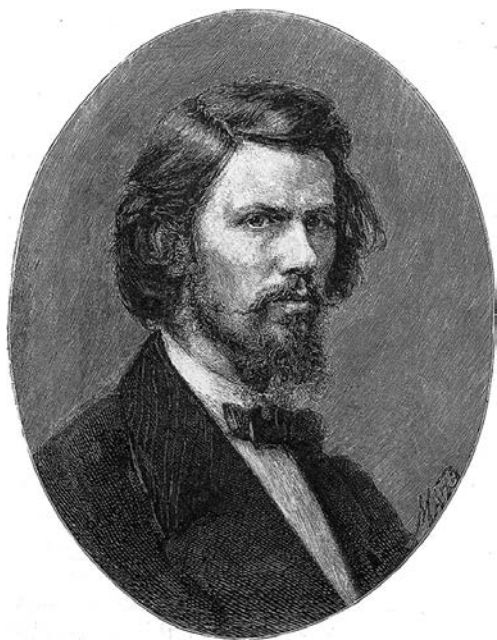


Александр Алексеев.
Литография к роману «Братья Карамазовы».
1929 год

дней. Двадцати лет и возможности написать второй роман об Алеше Карамазове у автора, однако, не оставалось: вскоре Достоевский умер.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

«Братья Карамазовы» взволновали общественность еще до завершения работы, в глазах многих окончательно утвердив Достоевского в статусе духовного учителя. Вот как, например, писательница и сотрудница Достоевского Варвара Тимофеева описывала⁵ публичное чтение автором «Исповеди горячего сердца»:



Иван Крамской.
Автопортрет. 1867 год

...Это была мистерия под заглавием: «Страшный суд, или Жизнь и смерть»... Это было анатомическое вскрытие больного гангреною тела, — вскрытие язв и недугов нашей притупленной совести, нашей нездоровой, гнилой, все еще крепостнической жизни... Пласт за пластом, язва за язвой... гной, смрад... томительный жар агонии... предсмертные судороги... И освежающие, целительные улыбки... и кроткие, боль утешающие слова — сильного, здорового существа у одра умирающего. Это был разговор старой и новой России, разговор братьев Карамазовых — Дмитрия и Алеши.

По словам мемуаристки, если поначалу публика была удивлена и перешептывалась: «Маниак!.. Юродивый!.. Странный...», то к концу была глубоко взволнована и наградила чтеца громовыми рукоплесканиями.

Художник Иван Крамской писал 14 февраля 1881 года Павлу Третьякову: «После “Карамазовых” (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после “Великого инквизитора” есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что

казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня Судного...» Подобные чувства разделяли многие читатели — как записал Достоевский 23 апреля 1880 года, «не дают писать... Виноваты же в том опять-таки “Карамазовы”... Ко мне ежедневно приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, зовут меня к себе — что я решительно здесь потерялся и теперь бегу из Петербурга!»

Критика отнеслась к роману менее благосклонно. Так, критик и философ Максим Антонович упрекал⁶ Достоевского в проповеди порабощения, которую ведут, каждый на свой лад, и Великий инквизитор, и старец Зосима, полагая, что «Братья Карамазовы» — тенденциозный «трактат в лицах»:

Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к аллегории романа и изложил свою мысль только в трактате, если бы был уверен, что трактат так же сильно действует на читателей и с таким же увлечением и азартом будет читаться и в том случае, если он не будет подправлен и одобрен разными романтическими снадобьями и художественным перцем.

По мнению критика, Достоевский, возвратившись к литературной деятельности после ужасного опыта каторги, ударился в мистицизм, обратился к левому славянофильству, почвенничеству и против европейского образования и просвещения,

которое русской интеллигенции следует отринуть вместе с гордыней и свободной волей и искать спасения в монастырском послушании.

Критик-народник Николай Михайловский, отметив «отдельные места необыкновенной яркости и силы», пенял автору на «инквизиторский характер основной тенденции», «ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов» и, главное, «томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алеше», сочтя, однако, что «именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих читателей»⁷.

Либеральный публицист Александр Градовский заключил, что у Достоевского есть «великий религиозный идеал, мощная исповедь личной нравственности, но нет даже намека на идеалы общественные»⁸. Владимир Соловьев, отвечая Михайловскому, вступился за писателя в заметке 1882 года «Несколько слов по поводу “жестокости”»: «У него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству Евангелием».

Философу, писателю, консервативному идеологу Константину Леонтьеву^{*1} мысль о преобразовании мира путем индивидуального духовного подвига показала противной «и здравому смыслу, и Евангелию, и естественным наукам»; «скучно до отвращения — пир всемирного однообразного братства», «поголовная однообразная кротость»⁹. Обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев испытывал по тому же поводу настоящую тревогу — в письме фрейлине Екатерине Тютчевой от 4 февраля 1882 года он писал: «Ведь они подлинно думают и проповедают, что Достоевский создал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире и даже в русской церкви».

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Достоевский умер от туберкулеза легких 28 января (9 февраля) 1881 года, через два месяца после окончания публикации «Братьев Карамазовых». Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, гроб до могилы несли на руках. На надгробии писателя высекли слова из Евангелия от Иоанна: «Аще зерно пшеничное пад на земли не умрет, то едино

пребывает; аще же умрет, мног плод сотворит». Те же слова в современном ему переводе Достоевский поставил эпиграфом к «Братьям Карамазовым».

«Карамазовы» были восприняты во всем мире как духовное завещание Достоевского и повлияли на литературу уже XX века — таких писателей, как Франц Кафка, Джеймс Джойс, Франсуа Мориак, Томас Манн (особенно «Доктор Фаустус»), Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джон Стейнбек. Известно, что «Карамазовы» были последней книгой, которую читал Лев Толстой. О влиянии романа на свою жизнь и взгляды говорили Людвиг Витгенштейн, Мартин Хайдеггер, Альберт Эйнштейн. Альбер Камю посвятил Ивану Карамазову много строк в эссе «Человек бунтующий», Зигмунд Фрейд, называвший «Карамазовых» «величайшим романом из всех, когда-либо написанных», написал статью «Достоевский и отцеубийство», в которой трактовал не только сюжет романа, но и биографию Достоевского в свете Эдипова комплекса. «Братьев Карамазовых» до сих пор регулярно называют в числе своих любимых книг мировые знаменитости и политические лидеры. Особенной популярностью пользуется «Легенда о Великом инквизиторе», часто издающаяся как отдельная книга.

^{*1} Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) был военным врачом на Крымской войне, служил в русских консульствах на Крите, в албанском городе Янину, Салониках, работал в газете «Варшавский дневник», служил в Московском цензурном комитете. Последние несколько лет жизни жил в Оптиной пустыни, незадолго до смерти принял тайный постриг под именем Климент и переехал в Сергиев Посад, где скончался от пневмонии. Автор повестей, романов, публицистических сборников. Леонтьев в своих статьях критиковал либерализм, мещанство, выступал за сильную власть, «византизм» и союз России со странами Востока.

Братья
Карамазовы

Посвящается Анне Григорьевне Достоевской

Истинно, истинно говорю вам:

если пшеничное зерно, падши в землю,

не умрет, то останется одно;

а если умрет, то принесет много плода.

(Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24)

От автора

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?

Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: «Может быть, увидите сами из романа». Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: «Не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались...

Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия: понравится — так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня

одно, а романов два. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение: если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то каково же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость?

Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности: тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, заранее в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа «при существенном единстве целого»: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй? Конечно, никто ничем не связан; можно бросить книгу и с двух страниц первого рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспристрастном суждении; таковы, например, все русские критики. Так вот перед такими-то все-таки сердцу легче: несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и все предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется.

А теперь к делу.

Часть первая

Книга первая

История одной семейки

I

Федор Павлович Карамазов

Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом «помещике» (как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье) лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, — но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, — а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.

Он был женат два раза, и у него было три сына: старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и, сверх того, из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного «мозгляка», как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом

«романтическом» поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был, без сомнения, отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи, тогда как он был только злой шут, и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру хотя чем бы то ни было; примазаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было — ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красоту Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления.

Аделаида Ивановна, тотчас же после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайною быстротой. Несмотря на то что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая

беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя чрез совершение какого-нибудь подходящего акта и наверно бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но, по преданию, бил не Федор Павлович, а была Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прикрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть», — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась с своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург, — для чего? — он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал; но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве, для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое

безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям — от тифа, а по другим — будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпускаеши», а по другим — плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то и другое, то есть что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице — все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже.

II

Первого сына спровадил

Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним как с отцом именно случилось то, что должно было случиться, то есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботясь он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых; овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший

потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятих годов. В продолжение своей карьеры он перебивал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России и за границей, знал лично и Прудона и Бакунина и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трех днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович, еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с «клерикалами» почел даже своею гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал, в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям, и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу. Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был (купно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалось именице — дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои

денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Случилось так, что, обжившись в Париже, и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла, и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменял в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых мне и романа начать невозможно.

Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объяснить с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился; пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого (факт достопримечательный) ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда, с первого разу (и это надо запомнить), что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделяваться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего,

что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть, еще даже сам должен ему; что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и проч., и проч. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону. Но, пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись.

III

Второй брак и вторые дети

Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелко-подрядному делу, с каким-то жидком в компании. Федор Павлович хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато. Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взрослая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши-старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, — до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой, старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности. Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей. Но дело было в другой губернии; да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку,

чем оставаться у благотельницы. Так и променяла бедняжка благотельницу на благотеля. Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и, сверх того, прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотою невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного любителя лишь грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули», — говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем, у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним «виновата» и что он ее почти «с петли снял», пользуясь, кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже попраля ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины, и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганною молодою женщиною произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой болезни, со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок. Родила она, однако же, Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, — как сквозь сон, разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и заброшены отцом и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха самодурка генеральша, благотельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и все время, все восемь лет, не могла забыть обиды, ей нанесенной. О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения и, слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал».

Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала. Был тогда час вечерний. Федор Павлович, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей «за сирот Бог заплатит». «А все-таки ты балбес!» — крикнула ему генеральша, отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее, и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу.

Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив, однако, в завещании обоим малюткам по тысяче рублей каждому «на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеливается», и проч., и проч. Я завещания сам не читал, но слышал, что именно было что-то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался, однако же, честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии Ефим Петрович Поленов. Списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытащишь (хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в этаких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях), он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. И если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он сохранил